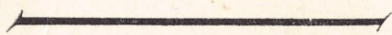
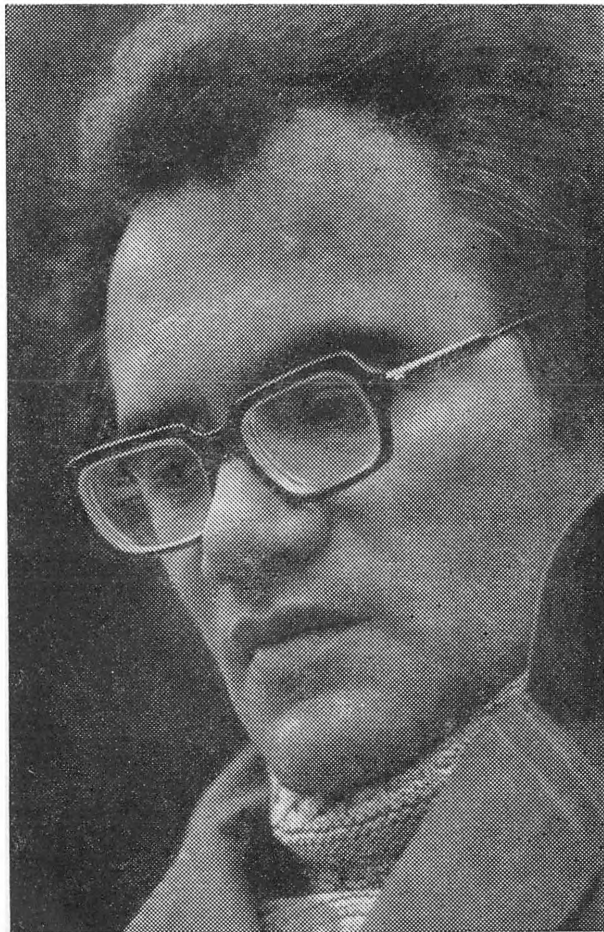
A decorative border of golden ribbons with a textured, woven pattern surrounds the text. The ribbons are arranged in a rectangular frame with some pieces extending outwards at the corners and bottom center.

АЛЕКСАНДР
КУШНЕР



ГОЛОС

©



АЛЕКСАНДР
КУШНЕР



ГОЛОС

СТИХОТВОРЕНИЯ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1978

Р 2
К 96

В новую книгу Александра Кушнера вошли стихотворения, написанные в последние годы. Это стихи о Ленинграде, о природе, о любви.

К $\frac{70402-171}{083(02) - 78}$ 159-78

Издательство
© «Советский писатель», 1978 г.



РВАННЫЕ
СТРОФЫ



НА ПУТИ ИЗ ПЕТРОКРЕПОСТИ

Когда из Петрокрепости, пыля,
Бежит автобус топкими местами —
Черемуха, березы, тополя
Да кладбища с крестами и звездами
Сопутствуют ему, да облака,
Да тусклая, с припухлой волною,
Тяжелая, угрюмая река
Со сходнями, травой береговою.

На постаментах памятных над ней
То вздыблен танк, то пушка смотрит грозно.
Качаются буйки среди зыбей,
Вбегают, запыхавшись, Мга и Тосна,
Буксир сквозит меж зарослей кустов,
Разглаживая складки волн свинцовых. . .
Ничто не предвещает ни мостов,
Ни набережных царственных, дворцовых,

Ни шпилей ледяных, ни куполов,
Ни наших с вами медленных прогулок,

Ни тех заветных, праздничных стихов,
Что помнят каждый дом и переулок,
Ни гения, дудящего в трубу
Победы, щеки важно раздувая. . .
Но так и ты не можешь знать судьбу
Заранее, как эта даль речная.

И если даже, славы не стяжав,
Не просветлев, не сделавшись счастливей,
В тоске косясь на мятый свой рукав,
Придешь к концу и скроешься в заливе,
Катя свой вал, как гору серебра,
Вдоль берегов затопленных и плоских, —
Ты — как Нева, но только до Петра,
В предчувствии высоких дел петровских.

ОКНА

Коллекции моей не угрожают
Ни ржавчина, ни пыль. Хранится в ней
С полсотни ленинградских влажных окон.
Друзья мои, приятели, подруги
Дарили мне их, не подозревая
О том, как я их дар употреблю.
Окно на Охту, с шорохом трамвая,
Окно на сад, который так люблю.

Окно на поле Марсово, с персидской
Сиренью и гробницами. Окно
В колодец петербургский, с подворотней,
И дворницкой, и эхом, доносящим
Безумный разговор: окно открыто,
А разговор все жарче и странней. . .
А это — мне досталось от визита
Случайного, к друзьям моих друзей:

В нем — Карповка и, кажется, каштаны.
Мне свечи вертикальные в листве

Запомнились. (Когда-нибудь сверну
На Карповку и снизу сон проверю.)
А есть еще в коллекции — на Мойку
Окно, вблизи квартиры роковой.
На Лиговку, на порт, на новостройку
За ласковой Поклонною горой.

Как рыцарь тот, угрюмый нелюдим,
Не сплю: слепит меня моя забава.
«Я царствую! — могу сказать за ним. —
Послушна мне, сильна моя держава».
На «Русский дизель» дымное окно,
На Невку, с сонной мухой и моторкой,
На Кронверкский, и есть еще одно,
Квадратное, с узорчатою шторкой,

Которую легчайшая рука
Задергивала, прежде чем объятье
Раскрыть, лишь куст высокий зеленел,
Просвечивая сквозь льняные нити,
И влажный застилал глаза туман. . .
И если в сундуке порыться с краю,
Найдем еще окно на океан,
А может быть, на тундру, — я не знаю.

Еще окно, — хозяин мертв, но вид
На улицу в окне не изменился. . .
И словно укорачивая фокус
В проекционном фонаре, уткнусь
Усталым взглядом в бледное окно,
Июньское, на расстоянье шага,
И вздрогну: в нем лицо отражено
Чужое, но мои перо, бумага.



Паутина под ветром похожа
На барочный комод.
Тесных ящичков ряд перекошен,
Каждый пуст, но в каком-то живет
Паучок, а в каком-то иголка
Затерялась и пахнет сосной;
И стоишь, задержавшись надолго
Перед мебелью этой резной.

Приседаешь, склоняешься низко,
Словно ищешь меж нижних ветвей,
Не оставлена ль кем-то записка,
Не написано ль в ней:
«Я люблю тебя! Время — помеха.
Ты, как муха, запутался в нем,
Но растет постепенно прореха,
Мы сквозь время с тобою пройдем.

Пусть оно на лицо нам осядет,
Снимем с локтя его и с плеча,

И морщины разгладит
Нам горячая ласка луча.
Пышногрудый, с его вольтерьянством,
Восемнадцатый век или твой —
Ах, не все ли равно. . . а с пространством
Легче справиться, друг дорогой!»

Я с записочкой медлю у входа,
Я в руках ее долго верчу.
«Или ящички плохи комода?»

Запинаюсь, молчу.

«Нет, — шепчу, — то есть да, то есть плохи».
И теряю блеснувшую нить,
И соринку с изделия эпохи
Золоченой спешу соскоблить.

Не любовь и крутые откосы,
И не смерть я имею в виду,
Когда белым дымком папиросы
Отгоняю тоску на ходу
Или, ставя в стихах своих точку,
Не надеясь уснуть,
Словно ящичек, выдвину строчку:
Пусто в ней или есть что-нибудь?

Блещет средь паутины роскошной
Паучок золотой.
«Все я знаю про век позапрошлый,
Но не знаю, чем кончится мой.
А без этого точного знания,
Без оплаты несметных долгов
Нет рассеянья мне, любованья
И забвенья во веки веков!»

* * *

Я делал контурные карты
За сына, то есть заходил
С карандашом в Тибет и Татры,
Границу Бирмы обводил;
Она петляла, словно нитка
На пиджаке, к нему пристав;
И Филиппины, как улитка,
Мне заползали под рукав.

Не знали жители Манилы,
Что я над ними зависал,
Менял то грифель, то чернила
И буквы мелко писал.

За градом град, за складкой складка, —
Воссоздавал своей рукой
Черты того миропорядка,
Что днем ошибкой и тоской
Считал, а ночью, в ярком свете
Настольной лампы, в тишине,

Черты неряшливые эти
Казались значащими мне.

И страшно было ошибиться,
Позволить пыл себе и прыть,
В пески безвыходно зарыться,
В пучине город потопить.
А берег моря, шелест пены,
Корабль, отправленный ко дну
От скуки. . . чур нас эти сцены!
Я сам скорее утону!
Нет, я кружочек Сингапура
С великим тщаньем обведу,
Хоть поставщик и клиентура
Там спелись где-нибудь в порту.

Есть щель в подметке пассажира,
А так — не видно ничего. . .
А сын-лентяй за карту мира,
Задворки душные его
Получит «пять». . . Скользи по свету
Прилежным взглядом или брось
Его в портфель. . . другого нету.
Иль сделать мне не удалось.

С АНГЛИЙСКОГО

Не сдвинуть нам Линкольна или Гранта.
Но будущее — многовариантно.
Предсказывать его — где взять талант?
Хотя сказал мне друг на это круто,
Что Клио выбирает почему-то
Из многих — наихудший вариант.

Я думаю, напрасно так мы спорим.
Пускай гадает будущий историк,
Взор обратив назад, ему видней
(Улегся пыл, и нет уже той пыли),
Какую мы из кубиков сложили
Картинку — тигр иль зайчик, что на ней?

Я посмотрел в окно: там на приколе
Стояла туча, словно Капитолий,
На ветерке краями шевеля.
Она могла в минуту колебанья
Себе придать любые очертанья,
Кочевника, дракона, журавля.

И если время складывает зверя,
Давай с тобой, в другой рисунок веря,
На месте лапы выложим крыло!
Пускай страшилой, пугалом, уродом,
Новейший миф наметив мимоходом,
Плеща крылом, себе мешает зло.

ДУНАЙ

Дунай, теряющий достоинство в изгибах,
Подобно некоторым женщинам, мужчинам,
Течет, во взбалмошных своих дубах и липах
Души не чая, пристрастясь к веселым винам.

Его Бавария до Австрии проводит,
Он покапризничает в сумасбродной Вене,
Уйдет в Словакию, в ее лесах побродит
И выйдет к Венгрии для новых впечатлений.

Всеобщий баловень! Ни войны, ни затмения
Добра и разума не омрачают память,
Ни Моцарт, при смерти просивший птичье пенье
В соседней комнате унять и свет убавить.

Вертлявый, влюбчивый, забывчивый, заросший
В верховьях готикой, в низовьях камышами,
И впрямь что делал бы он с европейским прошлым,
Когда б не будущее, посудите сами?

Что ж выговаривать и выпрямлять извивы,
Взывать к серьезности, — а он и не старался!
А легкомыслие? — так у него счастливый
Нрав, легче Габсбургов, и долго жить собрался.

РУИНЫ

Для полного блаженства не хватало
Руин, их потому и возводили
В аллеях из такого матерьяла,
Чтобы они на хаос походили,
Из мрамора, из праха и развала,
Гранитной кладки и кирпичной пыли.

И нравилось, взобравшись на обломок,
Стоять на нем, вздыхая сокрушенно.
Средь северных разбавленных потемок
Всплывал мираж Микен и Парфенона.
Татарских орд припудренный потомок
И Фельтена ценил, и Камерона.

Когда бы знать могли они, какие
Увидит мир гробы и разрушенья!
Я помню с детства остовы нагие,
Застывший горя лик без выраженья.
Руины. . . Пусть любят другие,
Как бузина цветет средь запустенья.

Я помню те разбитые кварталы
И ржавых балок крен и провисанье.
Как вы страшны, бывшие идеалы,
Как вы горьки, любовные прощанья,
И старых дружб мгновенные обвалы,
Отчаянья и разочарованья!

Вот человек, похожий на руину.
Зияние в его глазах разверстых.
Такую брешь, и рану, и лавину
Не встретишь ты ни в Дрезденах, ни
в Брестах.

И дом постыл разрушенному сыну,
И нет ему забвения в разъездах.

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку,
А этот храм не молния разбила,
Он так задуман был. Поставим точку.

В развале этом, правильно-дотошном,
Зачем искать другой, кроваво-ржавый?
Мы знаем, где искать руины: в прошлом.
А будущее ни при чем, пожалуй.
Сгинь, призрак рваный в мареве сполошном!
Останься здесь, но детскою забавой.

* * *

Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервнойной
В петербургском промозгом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти невроты
Объясняются болью за всех,
Переломным сознанием и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните. . . ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.

А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: — Нельзя ли без нервов?
— Как без нервов, когда они есть! —
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
— Ты припомнил бы мне еще тапки.
— Ведь девятое только число. —
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.

* * *

Я шел вдоль припухлой тяжелой реки,
Забывшись, и вздрогнул у моста Тучкова
От резкого запаха мокрой пеньки.
В плащах рыбаки
Стояли уныло, и не было клева.

Свинцовая, сонная, тусклая гладь.
Младенцы в такой забываются зыбке.
Спать, глупенький, спать.
Я вздрогнул: я тоже всю жизнь простоять
Готов у реки ради маленькой рыбки.

Я жизнь разлюбил бы, но запах сильнее
Велений рассудка.
Я жизнь разлюбил бы, я тоже о ней
Не слишком высокого мнения. Будка,
Причал, и в коробках — шнурочки червей.

Я б жизнь разлюбил, да мешает канат
И запах мазута, веселый и жгучий.

Я жизнь разлюбил бы — мазут виноват
Горячий. Кто мне объяснит этот случай?
И липы горчат.

Не надо, оставьте ее на меня,
Меня на нее, отступитесь, махните
Рукой, мы поладим: реки простыня,
И складки на ней, и слепящие нити
Дождливого дня.

Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне
Согласен, но, едкая, вот она рядом
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.
Не вырваться мне.
Как будто прикручен к ней этим канатом.

* * *

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большой пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливицы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время — кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

РАЗГОВОР В ПРИХОЖЕЙ

Не наговорились. В прихожей, рукой с четвертой попытки в рукав попадая, о Данте, ни больше ни меньше, с такой надсадой и страстью заспорить:

— Ни рая,
ни ада его не люблю.

— Подожди,
как можно. . . —

(И столько же тщетных попыток открыть без хозяина дверь, позади торчащего.)

— Вся эта камера пыток
не может нам искренне нравиться.

— Он
подобен всевышнему.

— Что же так скучен?

— Ну, знаешь. . . —

И с новым запалом вдогон
трясущему дверь:

— Если ты равнодушен,

то это не значит еще. . . И потом,
он гений и мученик.

— В чем переводе
читал ты его? Где мой зонт?

— Не о том
речь, в чем переводе. Подобен породе
гранитной, с вкраплениями кварца, слюды.
И магма метафор, и шахта сюжета.

Вот зонт. Кстати, в моде складные зонты.

— Твой мрамор и шпат — из другого поэта,
не Данте нашедшего в них, а себя,
черты своего становленья и склада.

По-моему, век наш, направо губя
людей и налево, от Дантова ада
наш взор отвратил: зарывали и жгли
и мыслимых мук превзошли варианты. . . —
Опомнись. Мы что, подобрать не могли
просторнее места для спора о Данте?

ПОРТРЕТ

Портрет — не моя добродетель, лишен
Я этого дара; мне кажется, некто,
Кого б я хотел описать, окружен
Туманом и скрыт в нем, как тайная секта.
Мне помнится, мне удавался предмет —
Какой-нибудь стол или круглая ваза,
Которую вертишь и смотришь на свет,
И чувствуешь: вот ее хрупкость и масса.

Но это — не медь, не стекло, не вода,
Не газ, а какое-то вечное чудо,
Влекущееся через все невода
И все рассужденья: куда и откуда?
И тут — тем труднее, чем ближе к нему:
Мне друг — наважденье, мне сын — непонятен,
А этот и вовсе упрятан во тьму,
Слепит сочетанием света и пятен.

Что делают в прозе? Одну из примет
Варьируют и закрепляют повтором,

И вот этот призрак в надежный корсет
Засунут и прочным снабжен разговором.
А в жизни — бормочут, лепечут, молчат,
Мычат, говорят не своими словами,
Вперед забегают — и все невпопад
И мимо, с другими — другие, чем с вами.

Семью описать; но семья ни при чем!
При чем, но не очень: не стоит мороки.
Эпоху? Но он пожимает плечом,
Насмешливо цедит: — Мы что, на уроке? —
И автор, как будто второй Розенкранц,
Второй Гильденстерн, не умеющий флейту
Заставить играть.

— Так не трогайте нас!
Не дуйте в тростинку разумную эту!

И все же. . . Есть люди, среди облаков
Парящие, с них наше время, как с гуся.
Кого б я хотел описать, не таков.
Он правой ладонью нащупывал узел
Сердечный, стараясь ослабить чуть-чуть
Жестокую стянутость, он не в погоне —
В газете искал объяснение, и грудь
Под лацканом тер себе. . . Нет, не выходит!

В передней, кряхтя, залезал он в пальто
И вдруг вспоминал, как спасал его ватник,
Рассказывал случай, прощался. . . Не то,
Не сцена, а так, подмалеванный задник.
Он к старости счастья не нажил себе,
А впрочем, откуда я знаю. . . Светлело
Там что-то, мерцало, менялось в судьбе.
Помалкивал он. . . Не мое это дело.

Особенно речи у гроба страшны.
Чем стих виртуозней по поводу смерти
Приятеля, тем за ним больше вины,
И точен, и знает всю правду. . . Не верьте!
Никто до конца ничего ни о ком
Не знает, никто не поставлен итоги
Чужие ни вслух подводить, ни тайком,
Ни ставить оценки ему в некрологе.

У мемуаристов — особый резон,
И помнят, что им до войны говорили.
Кого б я хотел описать, окружен
Туманом, я помню: мы в парке бродили
И вечер спускался; какую черту
Мне выбрать: он весь перечеркан чертами,
Как ветками небо: печаль, доброту,
Веселость и скупость? Его по программе

Небось проходить не придется. Он прост.
Он сложен. Его мы легко раскусили.
Как все мы, однажды он встал во весь рост:
Так вот мы кого по плечу теребили!
Он правой рукою касается звезд,
Он левой берет со стола сигарету,
Он весь — перебор, перелет, перехлест, —
И нам не вобрать переполненность эту.



ВЫСОКАЯ
НОТА



* * *

Загнется сознание в другую,
Дремотную сторону — там
Увидишь подкладку дневную,
Подшитую к белым ночам,
И комнату в блеклом убранстве,
И в окнах — засвеченный вид,
Где тополь не то в плюс-пространстве,
Не то в минус-времени спит.

Какая высокая нота!
Кто взял ее там, за стеной?
Как явно присутствие чье-то
Сквозит и владеет душой!
И счастье, на том основанье,
Что ты и не думал о нем,
Влетает в твой сон, как дыханье
Весны под ночным ветерком.

Оно беспредметно, бесплотное,
Не связано с ходом вещей,

От той, кого любишь, свободно:
Не хочешь — не думай о ней,
И в этой дремотной отчизне
Тебе на мгновенье дана,
Как милость, свобода от жизни.
Проснешься — подушка влажна.

* * *

Голос — это работа души,
Это воздух, озвученный нами.
Это нёбные ниши, кряжи,
Альвеолы и зубы с губами.

Как на корочке хлебной прикус,
На горячей болванке воздушной
Отпечатан характер и вкус,
Грузный облик наш или тщедушный.

Соловей перебьет соловья,
Запоют, основной и резервный,
И не знаю, заслушавшись, я,
Где теперь тут второй, а где первый.

А для наших земных голосов
Нет замены — высокий ли, тусклый,
Он один: нет ему двойников
На звучащей шкале этой узкой.

И последним сдается — сперва
Вянет почерк и волос тускнеет.
И на что-то надежда жива
В нем, когда уже кровь холодеет.

* * *

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.

Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,
Вжимаясь в подушку; глаза что открыть,
что закрыть —
Темно одинаково; ветер в окно залетает.

Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет.
Он плачет.

Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье близости, в том, что привычно,

Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, каменя, к Харону вторично.

Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть.
А ветер за шторами горькую пену взбивает
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятую, пестует и раздувает.

* * *

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.

В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.

Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных все утро вспухать пузырями,
Опадать и опять, становясь на колени,
Проступать, приликая то к ручке, то к раме.

О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; все утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.

И все утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь,
как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

* * *

Мозг ночью спит, как сад в безветрии.
Клонилась речь на семинаре
К функциональной асимметрии
Его бугристых полушарий.
К тому, что в правом — наше прошлое
Закреплено, а в левом — будущее.
Люблю дыхание полночное,
То затухающее, то дующее.

Мозг, сам себя перебивающий
Рассказом о своем устройстве.
Докладчик говорил: «Товарищи»,
В сомнении и беспокойстве.
В пространстве левом — опыт умственный,
Прохладный, дышащий безликостью,
В пространстве правом — вещный,
чувственный,
С шероховатостью и выпуклостью!

Мозг ночью спит, как сад, покинутый
Людьми, дрожащий, остывающий.

Мне кажется, я вправо сдвинутый,
А ты, ты влево загибающий.
Твои друзья высоколобые
Разъять материю пытаются.
Люблю похлопать ствол, попробовать
Кору: легко ли отдирается?

Пространство левое, абстрактное,
Стремящееся в неизвестное;
Пространство правое, обратное,
Всегда заполненное, тесное.
Вот и боярыню Морозову
Не сдвинуть в левый нижний угол.
Художник чувствует, где розвальни,
А где толпу раскинуть кругом.

Мозг ночью спит, как сад, но мыслями
Сорит, как листьями, бесшумно.
И те, что днем не удались ему,
Во тьме блестят почти разумно.

* * *

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственней всего.

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.

Биолог скажет, винт кружа,
Что взгляда не отвести.
— Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, — скажет, — есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.

Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.

Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.

Как мир качается — держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще?

* * *

Вот женщина: пробор и платья вырез милый.
Нам кажется, что с ней при жизни мы в раю.
Но с помощью ее невидимые силы
Замысливают боль, лелея смерть твою.

Иначе было им к тебе не подступиться,
И ты прожить всю жизнь в неведении мог.
А так любая вещь: заколка, рукавица —
Вливают в сердце яд и мучат, как ожог.

Подрагиванье век и сердца содроганье,
И веточка в снегу нахохлилась, дрожа,
И жаль ее, себя и всех. Зато в страданье,
Как в щелочной воде, отбелится душа.

Не спрашивай с нее: она не виновата,
Своих не слышит слов, не знает, что творит,
Умна она, добра, и зла, и глуповата,
И нравится себе, и в зеркальце глядит.

* * *

Ты так печальна, словно с уст
Слететь признание готово.
Но ты молчишь, а впрочем, Пруст
Сказал об этом слово в слово,
Что лица женские порой
У живописцев на полотнах
Полны печали неземной,
Последних дум бесповоротных,
Меж тем как смысл печали всей
И позы их и поворота —
Они глядят, как Моисей
Льет воду в желоб — вся забота!

* * *

Я в трубку телефонную кричу,
Чтоб слышала меня и поняла:
— Я, знаешь ли, еще раз не хочу
Жить, хватит мне той жизни, что была.

Я, кажется, предпочитаю тьму,
Еще раз не поднять тяжелых век.
— А это, — отвечает, — потому,
Что все же ты счастливый человек.

А я не отказалась бы. . . —

Молчу.

Ей кажется, что в следующий раз
Жизнь выдастся, как платье, по плечу,
К сиянию подойдет и цвету глаз.

* * *

О, космос в угольных мешках
И облаках межзвездной пыли!
Она рассеяна впотьмах.
И мы когда-то ею были.

И стол, и сад,
И стриж, несущийся куда-то,
Все, все — прекрасный результат
Ее сухого конденсата.

Какой проделан долгий путь,
Что стать смогла тобой и мною
И в нас блеснуть
Со всею пылкостью земною.

Я начитался трудных книг,
Где жизнь звезды дана как драма.
Нет и на миг
Покоя — сказано нам прямо.

Топорщись, жесткий переплет.
А я, к столу прижавшись с краю
(Саднит и жжет),
Как скатерть я не прожигаю?

Полночный ветер листву раздул.
Вошла с заминкой, в два приема.
Подвинуть стул?
Садись, — сказать ей, — будь как дома?

Звезда моя!
В плену туманности высокой
Пример счастливого житья
С невыносимой подоплекой.

* * *

Над кустом
Задержаться и жестом небрежным
Потрепать две-три розы тайком:
Пусть в наряде своем белоснежном
Проще держатся. Словно урок
Преподавать, не краснея, природе:
«Так, свободней! И чуточку вбок!
В этом роде».

Словно эта естественность есть
В нас, прохожих, а ей — недостало:
«Не сжиматься! Не ежиться! Цвесь
Как попало».
Это ты-то, до сотых долей
Уточняющий каждое слово,
Шепчешь ей:
«Будь небрежна, пышна, бестолкова!»

МУЖЧИНА С РОЗОЙ

Мужчина с розой на портрете,
Ее он держит меж двух пальцев
За стебель гибкий и точеный,
Перевернув к себе затылком,
Молодцевато и брезгливо,
Как все мужчины.

Что он мужчина, нет сомнений.
Напрасно б венский аналитик
Старался розу допросить
С пристрастьем: нет ли фетишизма,
Инверсионных отклонений, —
Их нет, им неоткуда быть.

К тому же, роза бессловесна,
Полузамучена верченьем
В руке, не помнит, где мучитель,
Где стол, где кресло, где букет.

В кафтане, с пышными усами,
Мужчина с розой полумертвой

Глядит, не зная, что с ней делать,
Вдохнуть тончайший аромат
Ему и в голову, конечно,
Прийти не может (то ли дело —
Сорвать и даме поднести!).
Так и должны себя вести,
Так и должны чуть-чуть небрежно
Мужчины к жизни относиться,
К ее придушенной красе,
Как этот славный офицер
(Тут нету места укоризне), —
Чуть-чуть неловко, неумело,
Затем что нечто кроме жизни
Есть: долг и доблесть, например.

ЦИКЛАМЕН

Он в живопись влюблен, он стелется при ней,
Склоняясь ниже всех. Он тянется, смотрите,
К полотнам — всем пучком извилистых корней
С цветками на весу. Он самый нежный зритель,
И нервничает. Он размашисто цветет
И зябнет. И его приводит в содроганье,
Что кто-нибудь из нас подумает: «Так вот
Как выглядит успех посмертный и признание!»

Под лучшей из работ, не смея встать с колен
И корни обнажив болезненно, как нервы. . .
Стыдливо-ледяной, сторукий цикламен!
Мы рады, что у нас в запасе есть резервы.
На клубнях у тебя топорчатся цветы.
Никто не помнит бед — ты слишком щепетилен!
Здесь жизнь приобрела бессмертные черты
И блещет, словно все грехи ей отпустили.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЮБВИ

Нельзя оглядываться мне.
Не потому, что тень утрачу дорогую,
А потому, что, прячась в стороне,
Она приблизится — и снова затоскую
Или задумаюсь, а думалось у же,
Что выжил, обновленный.
Как в ткани легочной, у каждого в душе
Участок есть обызвествленный.

И в поражениях есть смысл, и есть — в тоске.
Как виноградник филлоксерой,
Поражена душа блеснувшей вдалеке
Несбыточной химерой.
О, не оглядывайся! Снегом и дождем
Пусть вытравит все пятна.
О ком томился я и горевал о чем?
Я не оглядываюсь — мне и непонятно.

Брошюра гибкая спасенье объяснит
Мне механизмом вытеснения.

О, не оглядывайся! Но душа горит:
Хоть раз! Хоть на мгновенье!
Не оглянуться ли? Неверная стезя.
Мы скажем, что споткнулся.
Ведь и Орфей себе твердил одно: «Нельзя».
Он потому и оглянулся.

* * *

Любил — и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.

И отдых кончался при мысли о ней,
Недолог же он! И опять — наважденье.
Любил — и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушение
Расстаться с собой на виду у вещей.

И старый норвежец, учивший вражде
Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.

Вонстину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.

Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письма, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.

Любил — и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случалось; не знание причин,
А знание причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил — и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв — молодым
Быть; старым и все это вынесшим — лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил — и теперь еще. . . нет, ничего
Подобного больше, теперь — все в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил. . . о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил — и любил.

* * *

Испорченные с жизнью отношенья
Не скрасит мела снежного крошенье,
Намыливает лишь сильней петлю.
Не позвонишь ей в день рожденья,
Не скажешь: «Глупая, помирися, люблю!»

Она теперь с другими дружбу водит
И улыбается другим.
Мы что-то поняли в ее природе,
Чего стесняется она, изъяна вроде,
Порока вроде, вот и льнет не к нам, а к ним.

Ей с ними весело, а мы с ней сводим счеты.
Уличена во лжи, как мелкое жулье,
Забыла ноты,
Стихи, запуталась, превысила расходы,
И в унижении мы видели ее.

И это — мелочи, и если называем
Их, то с тем умыслом, чтоб сути не задеть.

Петляем.

«С какою нечистью. . .» — И фразу замечаем
Снежком, брошенным на эту тьму, как сеть.

Где ты была, когда, лицом уткнувшись в стену,
Пластом лежали мы, мертвей, чем талый наст?

Кого на смену

Нам присмотрела ты и вывела на сцену?

Влюблен ли он, как мы, и быстр, и языкаст?

«Нас не растрогает, — кричим, — твой вроде мела

Снег и дрожание заплывших тополей!

И есть всему предел, тебе лишь нет предела.

Ты надоела!»

И видим с ужасом: мы надоели ей.

КУСТ

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

* * *

Мне показали праведника. Он
Не пил, не спал с чужой женой, работал
Не то врачом, не то ветеринаром,
На службу ездил в город из поселка,
Знал наизусть священное писанье
И вел душеспасительные речи.

В тот раз стоял он с дедом узкоплечим
И высшее ругал образование.
За что? За то, что только специальность
Оно дает, но дух не проясняет
И жить не учит. . .

«Фраз его модальность, —
Подумал я, — проста и раздражает».

Но дедушка в обвисшем полушубке
С ним соглашался весело: — Во-во,
Сергея наш закончил институт —
С женой развелся, пьет и безобразит. —
Мы поравнялись с праведником тут,
А он сказал, что пьянство жизнь не красит.

Что ж, праведник как праведник. В пальто.
Потертый ворс дымился и вздымался.
Мне трогательным показалось то,
Что хлястик отогнулся и помялся.
Был чуть одутловат щеки овал,
А левый глаз прищурен и слезился.
«Так вот кто будет жить в раю», — сказал
Себе я с любопытством. . . и смутился.

* * *

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда все тайна, все секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

* * *

Рай и ад с атрибутами,
И в глазах от них резь.
Кресло с ножками гнутыми,
Хорошо, что ты здесь.

В полутьме, в полупраздности,
Ни в аду, ни в раю,
Посижу в безопасности,
Но на самом краю.



СЛОЖИВ
КРЫЛЬЯ



ПИРЫ

Андрею Смирнову

Шампанское — двести бутылок,
Оркестр — восемнадцать рублей,
Пять сотен серебряных вилок,
Бокалов, тарелок, ножей,
Закуски, фазаны, индейки,
Фиалки из оранжерей, —
Подсчитано все до копейки,
Оплачен последний лакей.

И давнего пира изнанка
На глянцевом желтом листе
Слепит, как ночная Фонтанка
С огнями в зеркальной воде.
Казалось забытым, но всплыло,
Явилось, пошло по рукам.
Но кто нам расскажет, как было
Беспечно и весело там!

Тоскливо и скучно!
Сатира
На лестнице мраморный торс.

Мне жалко не этого пира
И пара, а жизни — до слез.
Я знаю, зачем суетливо,
Иные оставив миры,
Во фраке, застегнутом криво,
Брел Тютчев на эти пиры.

О, лишь бы томило, мерцало,
Манило до белых волос. . .
Мне жалко не этого бала
И пыла, а жизни — до слез,
Ее толчеи, и кадушки
С обшарпанной пальмою в ней,
И нашей вчерашней пирушки,
И позавчерашней, твоей!

* * *

На скользком кладбище, один
Средь плит расколотых, руин,
Порвавших мраморные жилы,
Гнилых осин, —
Стою у тютчевской могилы.

Не отойти.
Вблизи Обводного, среди
Фабричных стен, прижатых тесно,
Смотри: забытая почти
«Всепоглощающая бездна».

Так вот она! Нездешний свет,
Сквозь зелень выбившийся жалко?
Изнанка жизни? Хаос? — Нет.
Сметенных лет
Изжитый мусор, просто свалка.

Какие кладбища у нас!
Их запустенье —

Отказ от жизни и отказ
От смерти, птичьих двух-трех фраз
В кустах оборванное пенье.

В полях загробных мы бредем,
Не в пурпур — в рубище одеты,
Глухим путем.
Резинку дай — мы так сотрем:
Ни строчки нашей, ни приметы.

Сто наших лет
Тысячелетним разрушеньям
Дать могут фору: столько бед
Свалилось, бомб, гасивших свет,
И свыклись мы с опустошеньем.

Уснуть, остыть.
Что ж, не цветочки ж разводить
На этом прахе и развале!
Когда б не Тютчев, может быть
Его б совсем перепахали.

И в этом весь
Характер наш и упоенье.
И разве царство божье здесь?
И разве мертвых красит спесь?
В стихах неискренно смиренье?

Спросите Тютчева — и он
Сквозь вечный сон
Махнет рукой, пожмет плечами.
И мнится: смертный свой урон
Благословляет, между нами.

* * *

Быть классиком — значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О, Гоголь, во сне ль это все, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться — куска проглотить
Не мог при свидетелях, — скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком — в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.

Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О, юноши, пыль на лице как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

* * *

И после отходной, не в силах головы
Поднять с подушки, все еще узнать пытался
Подробности о взятии Хивы.
Зачем они ему? Ведь он переселялся
В ту область, где Хива — такой же звук пустой,
Как Царское Село.

В окне шумели липы,
И жизни сладкий бред, умноженный листвою,
Смерть заглушал ему, ее тоску и хрипы.

А мы, прочтя о том, как умер кто-нибудь,
Примериваем смерть тайком к себе чужую:
Не подойдет ли нам? Пожалуй, эта жуть
Могла пожутче быть, попробуем другую.
Я столько раз в других мерцал и умирал,
Что собственную смерть сносил наполовину:
Помят ее рукав и вытерт матерьял.
В ночь выходя, ее, как старый плащ, накинута.

* * *

Ребенок ближе всех к небытию.
Его еще преследуют болезни,
Он клонится ко сну и забвению
Под зыбкие младенческие песни.

Его еще облизывает тьма,
Подкравшись к изголовью, как волчица,
Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.

Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.

Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он — при жизни,
Разнежившись без собственного «я»,
Нам к жалости живой и укоризне.

Его еще укачивают, он
Что помнит о беспмятстве — забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядись в него: вот-вот его разбудят.



Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать — пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут?

Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид — вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света
Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.

И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,

Любовная дрожь и свидание даже —
Все это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

ПОСЕЩЕНИЕ

Я тоже посетил
Ту местность, где светил
Мне в молодости луч,
Где ивовый настил
Пружинил под ногой.
Узнать ее нет сил.
Я потерял к ней ключ.
Там не было такой
Ложбины, и перил
Березовых, и круч —
Их вид меня смутил.

Так вот оно что! Нет
Той топи и цветов,
И никаких примет,
И никаких следов.
И молодости след
Растаял и простыл.
Здесь не было кустов!
О, кто за двадцать лет
Нам землю подменил?

Неузнаваем лик
Земли — и грустно так,
Как будто сполз ледник
И слой вырос на слой.
А фильмов тех и книг
Чудовищный костяк!
А детский твой дневник,
Ушедший в мезозой!

Элегии чужды
Привычкам нашим, — нам
И нет прямой нужды
Раскапывать весь хлам,
Ушедший на покой,
И собирать тех лет
Подробности: киркой
Наткнешься на скелет
Той жизни и вражды.

В журнале «Крокодил»
Гуляет диплодок,
Как символ грозных сил,
Похожий на мешок.

Но, может быть, всего
Ужасней был бы вид
Для нас как раз того,
Чем сердце дорожит.

Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят.
Завалены ходы.
Туманней, чем тот свет.

Бледней, чем райский сад.
Там видно колею,
Что сильный дождь размыл.
Так вот — ты был в раю,
Но, видимо, забыл.

Я «Исповедь» Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Все новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты вклеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей.

А есть среди страниц
Такие, что вполне
Быть вписаны могли
Толстым, в другой стране,
Где снег и ковыли.

Дрожание ресниц,
Сердечной правды пыл.

Я тоже посетил.
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;
Смотри: подорван тыл.

Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жесткий бег
Лужаек и корней.

Я вспомнил москвичей,
Жалеющих Арбат.
Но берег и ручей
Тех улиц не прочней
И каменных наяд.

Кто б думал, что пейзаж
Проходит, как любовь,
Как юность, как мираж, —
Он видит ужас наш
И вскинутую бровь.

Мемориальных букв,
На белом — золотых,
Экскурсоводок-бук,
Жующих черствый стих,
Не видно. Молочай
Охраны старины
Не ведает. Прощай!
Тут нашей нет вины.

Луга сползают в смерть,
Как скатерть с бахромой.
Быть может, умереть —
Прийти к себе домой,
Не зажигая свет,
Не зацепив ногой
Ни стол, ни табурет.

Смеркается. Друзей
Все меньше. Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней
И нынешних старух,
Что шли, к плечу плечо,
В футболках и трусах,
Под липким кумачом,
С гирляндами в руках.
О, тополиный пух
И меди тяжкий взмах!
Ведь детство — это слух
И зренье, а не страх.

Продрался напролом,
Но луга не нашел.
Давай и мы уйдем
Легко, как он ушел.

Ты думал удивить
Набором перемен,
Накопленных тобой,
Но мокрые кусты
Не знают, с чем сличить
Отцветшие черты,
Поблекший облик твой,
Сентиментальных сцен

Стыдятся, им что ты,
Должно быть, что любой.

И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир —
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час.

В ВАГОНЕ

Поскрипывал ремень на чемодане,
Позвякивала ложечка в стакане,
Тянулся луч по стенке за лучом.
О чем они? Не знаю. Ни о чем.
Подрагивали пряжки и застёжки.
Покачивались платья и сапожки.
Подмигивал, помаргивал плафон.
Покряхтывал, потрескивал вагон.
Покатая покачивалась полка.
Шнурок какой-то бился долго, долго
О стенку металлическим крючком.
О чем они? Не знаю. Ни о чем.
Усни, усни, усни, сгрузили бревна.
К восьми, к восьми, к восьми, нет,
в девять ровно.
Все блажь, пустяк, прости меня, все бред.
Попробуй так: да — да, а нет — так нет.
Ах, стуки эти, скрипы, переборы,
Сдавался я на эти уговоры,
Склонялся и согласен был с судьбой,
Уговоренный пряжкой и скобой.

ВОСТОЧНЫЙ УЗОР

1

ФЛЕЙТИСТ

Флейтист на корточках сидит.
Змея глядит и не мигает,
И тихой музыки магнит
Ее из петель поднимает.

Так заговаривают зло
И острый слух его тиранят.
А ты, когда на то пошло,
Не тем же разве делом занят?

И если где-нибудь не спят,
В ночи сдержать не могут вздоха
Иль обжигает сердце яд —
То, значит, мы играли плохо.

ИРАНСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Вот старец с двумя сыновьями
Заходит в костер, как в бурьян.
Не бойся: не тронет их пламя
И не почернеет тюрбан,
Но выйдут с горячим румянцем
Живыми из жарких пелен
К тому, кто, с прикушенным пальцем,
Бессмертием их поражен.

Вот падает тюрк пред имамом,
Целуя копыто коня:
«Откуда ты под покрывалом
По имени знаешь меня?»
А рядом — цветочки, цветочки,
Пустыни весенний наряд,
И молча среди проволочки
Имамовы слуги стоят.

Мне грустно: веселое пламя
Меня-то, как ветку, пожрет,
Да я и не сунуь руками
В его золотой переплет.
Имам в долгополом халате
Не встретится мне на коне,
Окликнув по имени кстати
И дух перестроив во мне.

Я не люблю Восток, не понимаю
 Любви к пустыням, зною и коврам,
 К его камням, с орнаментом по краю,
 К его цветистым, вкрадчивым речам,
 К его стихам, в которых что ни слово,
 То или роза или самоцвет,
 И мглой лиловой Павла Кузнецова
 В музеях я тем горестней задет,

Что эти сны миражные, чужие
 Не снятся мне, и втайне сознаю
 Свою ущербность, видя, как другие
 Находят рай при жизни в том краю,
 Где я — лишь зной да пыльную мороку.
 Богат Восток, и жалких этих строк
 Он не прочтет, и лень, и, слава богу,
 Не повредит Востоку холодок.

Есть у меня приятель, он родился
 В Москве, но выбрал сладкий этот плен,
 Раздался в скулах, весь преобразился
 И стал что твой таджик или туркмен.
 Национальность — странная забота,
 Она проходит. Сердце, прилепясь
 К иной земле, сбивается со счета,
 В другой узор уверовав и вязь.

И я, к иным присматриваясь строчкам,
 Ища пример себе в чужих стихах,
 Смотрю: они посыпаны песочком,
 Сухим, сплошным, скрипящим на зубах,
 И хвалят степь, и требуют отваги.

Песчинкой стать — противится душа.
Ах, листьев ей, и облачка, и влаги,
С балкона в ночь летящего стрижа!

4

Загробное блаженство фараона
Разобрано на части: вот флакона
Для благовоний скользкий силуэт.
Вот стул складной, и куколка резная
Для внутренностей, маска золотая,
Ларец, и лук, и трость, и амулет.

Ушло из тьмы и убежало тлена,
И на правах культурного обмена
Из древних Фив завезено. . . Куда?
Милиция дежурит с мегафоном,
Толпа гудит под блеклым небосклоном,
И невская колышется вода.

Тысячелетья — нолик, нолик, нолик.
Нам продал с рук билеты алкоголик,
И мы проникли в сказочную дверь.
Вот что отрыли заступ, дрель и ломик!
Но слышу плач: «Где мой игровой столик?
В каких садах охотиться теперь?»

Моя ладья! Мой гробик и посуда!»
Не плачь, несчастный! Это ли не чудо:
Твой ветхий сон — и люди в пиджаках?
Внимание их, музейное усердие.
И хочешь правду: странно не бессмертье,
А жизнь, в ее мерцанье и тенях!

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Знаю, с чем я сравню тебя. Так
Запах лотоса нильского сладок.
После пыльных конторских бумаг
Так приятен домашний порядок.
Знаю, с чем я сравню тебя. Ты —
Как сиятельный гость мой сановный,
Как прошедшие стрижку кусты
С безупречной поверхностью ровной.
Знаю, что уподоблю тебе.
Так со льдом освежает напиток.
Так листочек горчит на губе,
Усыпляет развернутый свиток.
Знаю, с чем я сравню тебя. Так
Гипнотически стонут цикады.
Уплотняется к вечеру мрак,
И ночные плывут ароматы.
Знаю, с чем мне сравнить тебя. Ты —
Как свисающее опахало.
Как на мумии бледной бинты.
Как гребец, прикорнувший устало.

Знаю, с чем я сравню тебя. Мне
Ни к чему эта вычурность слога.
Как горячие слезы во сне.
Так помешкай, помедли немного!
Знаю, что ты имеешь в виду,
Что ты держишь в мечтах на примете:
Возвращенье стиха в темноту,
Провисание прорванной сети.

Как ночное купанье. Как вновь
Без остатка во тьму погруженье.
Как забвенья себя. Как любовь.
Как навек от нее избавленья.

КРУЖЕВО

Суконное с витрины покрывало
Откинули — и кружево предстало
Узорное, в воздушных пузырьках.
Подобье то ли пены, то ли снега.
И к воздуху семнадцатого века
Припали мы на согнутых руках.

Притягивало кружево подругу.
Не то чтобы я предпочел дерюгу,
Но эта роскошь тоже не про нас.
Про Ришелье, сгубившего Сен-Мара.
Воротничок на плахе вроде пара.
Сними его: казнят тебя сейчас.

А все-таки как дышится! На свете
Нет ничего прохладней этих петель,
Сквожений этих, что ни назови.
Узорчатая иглотерапия.
Но и в стихах воздушная стихия
Всего важней, и в грозах, и в любви.

Стих держится на выдохе и вдохе,
Любовь — на них, и каждый сдвиг в эпохе.
Припомните, как дышит ночью сад!
Проколы эти, пропуски, зиянья.
Наполненные плачем содроганья.
Что жизни наши делают? Сквозят.

Опомнимся. Ты, кажется, устала?
Суконное накинем покрывало
На кружево — и кружево точь-в-точь
Песнь оборвет, как песенку синица,
Когда на клетку брошена тряпица:
День за окном, а для певуны — ночь.

* * *

Улыбнись. Нам улыбка идет.
Мрак земной раздвигает она.
Это мышц лицевых переплет,
Шорох мускульного волокна.
Это трепет нейронных цепей,
Подневольный, запутанный путь.
Улыбнись. Улыбнуться трудней,
Чем, нагнувшись, поднять что-нибудь.

Я забыл, как почти невзначай
Это делалось тысячу раз.
Кто напомним, какой Хокусай,
Леонардо, прищуривший глаз?
Саблевидная, сердце пронзи,
Чуть заметная, губы раздвинь,
Все равно, в той ли, в этой связи.
Даже если горька как полынь.

* * *

Бывает весело, а сердцу все грустней.
И гул веселия с душой не согласован.
Быть может, чашке больно, что на ней
Узор не выровнен и плод не дорисован.
Быть может, ты, ее на блюдечке вертя,
Тем компенсируешь рисунка недостаток
И улыбаешься, как малое дитя.
При чем здесь жизнь твоя, при чем миропорядок?

При том здесь жизнь моя, порядок здесь при том,
Что открывається для сердца свойство мира
Висеть на ниточке, на плоскости ребром
Застыв, расщедриться и вдруг родить Шекспира.
И представляется какой-то дальний план,
И зренью нет границ, и мысли нет предела.
Быть может, Индию минует ураган,
Циклон, а только что на волоске висела.

* * *

Я. Гордину

Был туман. И в тумане
Наподобье загробных теней
В двух шагах от французов прошли англичане,
Не заметив чужих кораблей.

Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта,
Мчался к Александрии, топтался у стен Сиракуз,
Слишком много азарта
Он вложил в это дело: упущен француз.

А представьте себе: в эту ночь никакого тумана!
Флот французский опознан, расстрелян, развеян,
разбит.

И тогда — ничего от безумного шага и плана,
Никаких пирамид.

Вообще ничего. Ни империи, ни Аустерлица.
И двенадцатый год, и роман-эпопея — прости.
О туман! Бесприютная взвешенной влаги частица,
Хорошо, что у Нельсона встретилась ты на пути.

Мне в истории нравятся фантасмагория, фанты,
Все, чего так стыдятся историки в ней.
Им на жесткую цепь хочется посадить варианты,
А она — на корабль и подносит им с ходу — сто дней!

И за то, что она не искусство для них, а наука,
За обидой не лезет в карман.
Может быть, она мука,
Но не скука. Я вышел во двор, пригляделся: туман.

* * *

О ты, жестокая холера!
Какого ты сгубила кавалера,
Семеновского унтер-офицера...

Эпитафия. Смоленское кладбище

Кладбищенских стихов тяжелое паренье.
Под рифму легче спать. Упреки, наставленья:
«Спи...» Или: «Отдыхай... Зачем от нас ушел?»
Медлительный их слог торжествен и тяжел.

Есть пропуски в стихах: там буквы облетели,
Там трещина прошла, там выскребли метели
Последний смысл из фраз; рассыпанный набор —
Вот все, что различить на камне может взор.

И все-таки прочны гранитные страницы,
И кое-что прочесть возможно, и гордится
Могильная плита тем текстом, что на ней,
Ущербу вопреки, дошел до наших дней.

И унтер-офицер, которому ни строчки
Прочесть не удалось в телесной оболочке,

Теперь, когда он тень, товарищей своих
В душе благодарит за самодельный стих.

А пошлостью людской взволнованный прохожий
На смерть глядит бодрей и думает: «Похоже
На жизнь и так смешно, что глупо унывать.
Запомнить бы стишки, чтоб другу прочитать».

* * *

Зачем, подумал я, в стихах обереута
Так много гусениц, стрекоз и паучков,
Шмелей, навозников, капустниц, почему-то
С утра слетавшихся на блеск его очков?
Жуков — особенно: жуки-единороги, ·
Жуки-наездники, жуки-восковики,
Топорща усики, цепляются за строки,
Как почитатели его и земляки.
Зачем, подумал я, был склонен человеком
Он называть жука с волшебным фонарем?
Затем, подумал я, что был обижен веком
И тьмой, и жук ему служил поводырем.
И кухня, с шелестом печного таракана,
И клоп, роняющий себя на табурет. . .
Не энтомолог он, но помнил капитана
Из Достоевского, его бессвязный бред.
Еще комарики, еще слепни и мухи,
Которым нравятся колени и виски,
Стихи-кустарники, от них — гуденье в ухе,
Стихи-рассадники томленья и тоски.

Зачем приветствовал он, как своих знакомых,
Их, устремлявшихся на мутной лампы свет?
Затем, подумал я, что в царстве насекомых
Нет расставания и заточенья нет.
Зато, когда с земли ушел он, на пределе
Сердечной выдержки, найдя для мертвых губ
Улыбку горькую, — они его отпели
Кларнетов горестней, угрюмей медных труб.

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.

Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.

Как богаты мы были, да все потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск — и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь
в печали.

Царь Эдип.

Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.

И меняется почерк.
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.

И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.

Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз
и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала —
Да мне голос шепнул: «Не туда ты глядишь!»

Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только
в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершенное в тайне, оно совершенно темно.
Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Может быть, в том, что бабочка знойные крылья
сложила,
Есть и наша вина: слишком близко мы к ней подошли.
Отойдем — и вспорхнет, и очнется, принцесса
Брамбила

В разноцветной пыли!

* * *

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.

Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся — и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.

Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!



ЗВУКОВАЯ
ВОЛНА.



* * *

С той стороны любви, с той стороны смертельной
Тоски мерещится совсем другой узор:
Не этот гибельный, а словно акварельный,
Легко и весело бегущий на простор.

О, боль сердечная, на миг яви изнанку,
Как тополь с вывернутой на ветру листвою,
Как плащ распахнутый, как край полы, беглянку
Вдруг вынуждающий прижать пальто рукой.

Проси, чтоб дунуло, чтоб с моря в сад пахнуло
Бодрящей свежестью волн, бьющихся о мыс,
Чтоб слово ровное нам ветерком загнуло —
И мы увидели его ворсистый смысл.

* * *

Должно быть, в воздухе безумия микроб
Носился: Батюшков не знал о Гельдерлине,
Но оба хмурили и растирали лоб,
И музы плакали, и цвел каштан в долине.
Один в Тюбингене гулял, овцы смиренней,
И звал в рассеянье себя — Буонарроти.
Другой стихи порвал; обуза для друзей,
Пугался, буйствовал, кричал о Нессельроде.
О, мрак прижизненный! Полжизни — в темноте,
На грани призрачной, на темной половине.
Где сладкогласие, где розы, мирты где?
И музы плакали, и цвел каштан в долине.
Хотите знать, где мир прекрасен и высок,
Тенист и солнечен? В стихи их загляните:
В них море плещется и, вдавленный в песок,
Триэры жесткий след мерцает, как на Крите.
А вы, любители болезней и безумств,
В том гениальности открывшие условие,
Две тени видите, застывшие без чувств?
Несокрушимое бы ваше им здоровье!

МОРЕПЛАВАНИЕ

Мореплаванье в Летнем саду
С беломраморной картой Европы,
Затуманясь, лелеет мечту —
Города, где очнуться могло бы
После долгого плаванья: Кельн
Острроверхий и Лондон дождливый.
Мореплаванью плохо без волн,
Берега ему снятся, проливы.

А еще ему горько, что здесь
Оно топчется в женском обличье,
Обнаженное, скарб его весь:
Руль, да карта, да песенка птичья.
Почерневшие грудь и спина.
Что на свете скучней аллегорий?
Подойдем: неужели она —
Мореплаванье, синее море?

Не таким я тебя представлял,
Мореплаванье, — флаг за кормою,

Затянувшийся взлет и провал,
Шлейф узорный с морскою звездою!
Перед тем как уснуть и во сне,
На высокой подушке покатою,
Ты не женщиной виделось мне,
А как раз избавленьем, прохладой.

Но когда от залива волну
Ветер вспять, разгулявшись, погонит,
И на мраморную белизну
Туча первые капли уронит,
И дождя поползут языки
По беспомощной, мокрой, раздетой,
И прохожий ускорит шаги,
От дождя прикрываясь газетой, —

Посреди сухопутных подруг,
Под листвою, поредевшей и зыбкой,
Мореплаванье смотрит, вокруг
Озираясь, с блаженной улыбкой.

ПРОГУЛКА

Итальянец назвал наше лето зеленой зимой.
В самом деле нежарко.
Плащ накину, пойду погуляю под мокрой листвой.
Жизнь покажется вроде подмоченного подарка.
Постою над Невой.

Посмотрю, как припухла ее голубая губа.
О, вторая Венеция! Тем, кто не видели первой,
Улыбнется судьба
И подсунет то шпиль, то фасад с почерневшей
Минервой.
Кто нам сбивчивый ритм небывалый диктует? Ходьба.

Хорошо у реки.
Те, кто были в Венеции, стали бедней на виденье,
На мираж, на иллюзию. Невских мостов позвонки,
Их дрожанье, гуденье.
Как люблю серебро это тусклое, блеск, сквозняки.

Этот выступ лепной,
Вороватого малого с фановой толстой трубой

Узловатой — под мышкой,
Эти лужи и в них акварели клочок голубой,
Эти липы с мальчишеской коротковатой стрижкой.

А вчера мне приснилось, что я заблудился в метро
И никак на поверхность не выбраться: «Мира»,
«Лесная»,
«Елизаровская». . . По тоннелям летел, как ядро,
Поезд, сон обгоняя,
В лабиринте подземном — слепое, стальное нутро.

И когда показалось, что мне никогда наяву
Не увидеть уже ни Васильевский остров, ни Биржу,
Я зашелся в тоске, я подумал: не переживу.
Распоролась по шву
Жизнь, и вскрикнул во сне, и проснулся, и понял:
увиджу.

ВЕТЬ

Но сквозь сеть нагих твоих ветвей...

И. Анненский

Ветвь на фоне дворца с неопавшей листвой
золоченой
Средь спящих снегов
Рукотворною кажется, жестко к стволу
пригвожденной.
Чем она отличается от многолетних цветов
На фасаде, его фантастически пышной лепнины?
От гирлянд и стеблей
На перилах, от рам, отбивающих свет у картины,
От узорных дверей?

Ветвь на фоне дворца, пошурши мне листочком
дубовым,
Помаши, потряси, как подвеской плафон, побренчи.
Я представить боюсь, неуместным задев тебя словом,
Как ты бьешься в ночи.
И когда этот Север вздыхает по птицам небесным,
По лазурным волнам,

Ты похожа на тех, кто живет, притворяясь железным
Или каменным, боль не давая почувствовать нам.

А еще мне мерещатся в холоде снежных объятий
Под бессонной звездой
Царскосельский поэт с гимназической связкой
тетрадей

И трилистник его ледяной.
Довисим до весны, до зеленых, что ярче и глаже,
Непохожих на бронзу, на гипс, на железо и жечь,
Но зимой не уроним достоинство тихое наше
И продрогшую честь.

* * *

Там — льдистый занавес являет нам зима,
Весной подточенная; там — блестит попона;
Там — серебристая, вся в узелках, тесьма;
Там — скатерть съехала и блещет бахрома
Ее стеклянная, и капает с балкона;

Там — щетка видится; там — частый гребешок;
Там — остов трубчатый, коленчатый органа;
Там — в снег запущенный орлиный коготок,
Моржовый клык, собачий зуб, бараний рог;
Там — шкурка льдистая, как кожица с банана;

Свеча оплывшая; колонны капитель
В саду мерещится; под ней — кусок колонны —
Брусок подмокший льда, уложенный в постель,
Увитый инеем, — так обвивает хмель
Руины где-нибудь в Ломбардии зеленой.

Все это плавится, слипается, плывет.
Мы на развалинах зимы с тобой гуляем.
Культура некая, оправленная в лед,
В слезах прощается и трещину дает,
И воздух мартовский мы, как любовь, вдыхаем.

* * *

Не о любви — о шорохе высоком
В листве глухой листочка одного,
Как будто бред в беспамятстве глубоком —
И не унять, не выровнять его.

Не о любви — о выбившейся прядке,
О тихом вздохе, вырвавшемся вдруг;
Не о любви — о тайне и догадке,
Но так темно, так призрачно, мой друг.

Не о любви — о доблести и долге.
Какой Корнель внушает нам строфу?
Не о любви — о вздохе и обмолвке,
О холодах, о рюмочке в шкафу.

Уже и ночь выносят на носилках,
И звездный блеск висит на волоске,
А он все бьется, скорченный, в прожилках,
И шелестит, как жилка на виске.

* * *

Валерию Попову

Блеск такой — не нужна никакая цветочная Ницца.
Невозможно весной усидеть взаперти.
И скворцу говорю: «Полетай, если птица!»
И сирени: «Пожалуйста, если сирень, то цвети!»

Человек недоволен: по-прежнему плохо со смыслом
Жизни; нечем помочь человеку, зато хорошо
Со скворцом и сиренью, которая шапкой нависла
И в лицо ему дышит безгрешно, бездумно, свежо.

И когда б развели тех налево, а этих направо,
Все равно, и в слезах, он примкнул бы к тому
Большинству,
Для которого жизнь даже если и боль, и отравы,
То — счастливая боль, так лучи заливают листву!

* * *

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность, как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть — все равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

* * *

Е. Невзглядовой

Если камешки на две кучки спорных
Мы разложим, по разному их цвету,
Белых больше окажется, чем черных.
Марциал, унывать нам смысла нету.
Если так у вас было в жестком Риме,
То, поверь, точно так и в Ленинграде,
Где весь день под ветрами ледяными
Камни в мокром красуются наряде.

Слышен шелест чужого разговора.
Колоннада изогнута, как в Риме.
Здесь цветут у Казанского собора
Трагедийные розы в жирном гриме.
Счастье — вот оно! Театральным жестом
Тень скользнет по бутонам и сплетеньям.
Марциал, пусть другие ездят в Пестум,
Знаменитый двукратным роз цветеньем.

* * *

И пыльная дымка, и даль в ореоле
Вечернего солнца, и роща в тумане.
Художник так тихо работает в поле,
Что мышь полевую находит в кармане.

Увы, ее тельце смешно и убого.
И, вынув брезгливо ее из кармана,
Он прячет улыбку. За господа бога
Быть принятым все-таки лестно и странно.

Он думает: если бы в серенькой куртке,
Потертой, измазанной масляной краской,
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий,
В широкий карман за теплом и за лаской, —

Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружа?
Придушат, пригреют? Отпустят на волю?
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный,
За преданность этому пыльному полю?

ВОЛНА

Волна в кружевах,
Изломах, изгибах, извивах,
Лепных завитках,
Повторных прыжках и мотивах;
Волна с бахромой,
С фронтоном на пышной вершине
Над ширью морской.
Сверкай, Борромини, Бернини!

И грохот, и гул.
Привольно, нарядно, высоко.
На небо, от брызг заслонившись
ладонью, взглянула:

И в небе — барокко!
Плывут облака:
Гирлянды, пилястры, перила.
Какая рука
Причудливо так их слепила?

Ученый знаток,
Твоих мне не надо усилий:

Мне ясен исток
И происхождение стилей!
Как шторм или штиль,
Тебя не спросясь, как погода,
Меняется стиль.
Искусство — свобода!

От веяний в нем,
Заимствований и влияний
Еще веселей. При безветрии полным уснем,
Проснемся при грохоте. О, исполнение желаний!
Сижусь за столом.
Неровно дыхание и сбои
Сердечные — ритм заставляют ходить ходуном,
Ворочая мысли, как камни в приборе.

Сюжетный костяк
Отставлен, с его несвободой
И скукой. Итак,
Мне нравится то, что «бесмысленной»
названо одой.

Крушение строк,
Поэт то могуч, то бессилен.
Но этот порок
В ней выдержан и продуктивен:

Он призван явить
Растерянность и утомленье,
Чтоб мы оценить
Тем выше могли вдохновенье.
Как волны у скал,
Как рушащаяся громада.
А я так устал,
Что и притворяться не надо.

Нам фора дана —
Лет десять: выросли мы позже.
Возьми дорогие из прошлых времен

имена:

Мы — старше, а сердцем — моложе,
И крепко струна
На грифе зажата, а все же. . .
А все же волна
И наша — на выдохе тоже.

«Что, весело жить?» —
Так спросят чудно и нелепо.
«Жизнь лучше, чем быть
Могла бы, но хуже, чем мне бы
Хотелось», — у врат
Отвечу загробного края,
Где тени стоят,
Усталых гостей поджидая.

Что, можно входить?
Притушат сиянья и нимбы.
Мы лучше, чем быть
Могли бы, но хуже, чем им бы
Хотелось. Гулять
Степенно, как по Эрмитажу?
По правде сказать,
Я будущей жизни не жажду.

Я эти стихи
Писал, вопреки Гераклиту:
Как в те же грехи,
Входил в эти строфы, по виду
Похожие друг
На друга, хотя в Ленинграде

Заканчивал их, вспоминая на севере юг,
А начал — в Крыму, к меловой
 прислонясь балюстраде.

Я помню: любви,
Казалось, конца не настанет,
Как жестким, в крови,
Безвыходным мукам титаньим,
И в эту волну
Кидался, ища отвлеченья.
И вдруг оказалось, что боль моя
 меньше в длину,
Чем стихотворенье.

Я в жизни стыжусь
Признаний, в стихах же все чаще
Себе я кажусь
Чудовищем с глазом горящим,
Испортившим жизнь
Себе и любимым, и снова
Всплывающим ввысь
Для мокрого, точного слова.

Читатель и друг!
Что делать с волной звуковой?
Накатит — и вдруг
Меня выдает с головою —
И вот под рукой
Твоей, с трепыханьем и дрожью,
Мертвею и гасну на белой странице сухой
Со всей моей правдой и ложью.

Что может быть тел
Застывших жалчей и желейных?

Но я пролетел
Давно, это звук мой в отдельных
Разводах, витках,
Отставший от собственной жизни.
Но, видно, в стихах
Есть что-то от крови и слизи.

Мне стыдно, что я
Твое занимаю вниманье.
И разве твоя
Жизнь скрытая — не содроганье,
Не смертный порыв,
Не волны в слепящем уборе?
Брезгливость смирив,
Как краба, швырни меня в море!

Мы жили с тобой
В одно небывалое время,
И общий прибой
Нас бил в подбородок и темя,
И прожитых лет
Вне строк стиховых не воротишь.
Ты — книгу и плед
Под мышку — и с пляжа уходишь.

Но тут, стороной
Узнав, что я гибну и стыну,
Приходит за мной
И тащит обратно в пучину —
Волна в завитках,
Повторных прыжках и мотивах,
Крутых временах,
Соленых и все же — счастливых!

СОДЕРЖАНИЕ

РВАННЫЕ СТРОФЫ

На пути из Петрокрепости	7
Окна	9
«Паутина под ветром похожа...»	11
«Я делал контурные карты...»	13
С английского	15
Дунай	17
Руины	18
«Слово «нервный» сравнительно поздно...»	20
«Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...»	22
«Времена не выбирают...»	24
Разговор в прихожей	26
Портрет	28

ВЫСОКАЯ НОТА

«Загнется сознание в другую...»	33
«Голос — это работа души...»	35
«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна...»	37
«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах...»	39
«Мозг ночью спит, как сад в безветрии...»	41
«Придешь домой, шурша плащом...»	43
«Вот женщина: пробор и платя вырез милый...»	45
«Ты так печальна, словно с уст...»	46
«Я в трубку телефонную кричу...»	47
«О, космос в угольных мешках...»	48
«Над кустом...»	50
Мужчина с розой	51
Цикламен	53
Воспоминание о любви	54
«Любил — и не помнил себя, пробудясь...»	56
«Испорченные с жизнью отношенья...»	58
Куст	60
«Мне показали праведника. Он...»	61
«Какое чудо, если есть...»	63
«Рай и ад с атрибутами...»	64

СЛОЖИВ КРЫЛЬЯ

Пиры	67
«На скользком кладбище, один...»	69
«Быть классиком — значит стоять на шкафу...»	71
«И после отходной, не в силах головы...»	72
«Ребенок ближе всех к небытию...»	73
«Контрольные. Мрак за окном фиолетов...»	75
Посещение	77
В вагоне	83
Восточный узор	
1. Флейтист	84
2. Иранские миниатюры	85
3. «Я не люблю Восток, не пошмаю...»	86
4. «Загробное блаженство фараона...»	87
5. Подражание древним	88
Кружево	90
«Улыбнись. Нам улыбка идет...»	92
«Бывает весело, а сердцу все грустней...»	93
«Был туман. И в тумане...»	94
«Кладбищенских стихов тяжелое паренье...»	96
«Зачем, подумал я, в стихах оберевута...»	98
Сложив крылья	100
«Сентябрь выметает широкой метлой...»	102

ЗВУКОВАЯ ВОЛНА

«Невы прохладное дыханье...»	105
«С той стороны любви, с той стороны смертельной...»	106
«Должно быть, в воздухе безумия микроб...»	107
Мореплавание	108
Прогулка	110
Ветвь	112
«Там — льдистый занавес являет нам зима...»	114
«Не о любви — о шорохе высоком...»	116
«Блеск такой — не нужна никакая цветочная Ницца...»	117
«Как клен и рябина растут у порога...»	118
«Если камешки на две кучки спорных...»	119
«И пыльная дымка, и даль в ореоле...»	120
Волна	121

Александр Семенович

КУШНЕР

ГОЛОС

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1978, 128 стр.
План выпуска 1978 г. № 159

Редактор *И. С. Кузьмичев*
Художник *Л. Д. Авидон*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *И. Г. Клейнер*

ИБ № 1088

Сдано в набор 30.01.78. Подписано к печати 25.05.78.
М 18598. Бумага тип. № 1. Формат 70×108^{1/32}. Литературная гарнитура. Высокая печать. Уч.-изд л. 3,19. Усл. печ. л. 5,6. Тираж 20 000 экз. Заказ № 108. Цена 35 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Ссоюзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, План выпуска 1978 г. № 159

35к.

